

## МЕСТО ДОСТОЕВСКОГО В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Роль Достоевского в развитии русской литературы определяется тем, что он самый идеологический классик. Он живет внутри идеологических течений времени и выверяет их им самим разработанным масштабом. В основе его — все тот же идеал всеобщей правды, но, разумеется, со своими особыми предложениями к его осуществлению. Этот идеал вступает в ожесточенное противоречие с конкретным течением мировой истории, переживавшей стадию буржуазного развития; но он не сгибается, а, напротив, развертывает все новые аргументы и возможности.

Отличие Достоевского от других русских классиков, развивающих идеал, его главное достижение и нововведение — в способе борьбы. Если попытаться передать одним словом избранный им метод в столкновении с сопротивляющимися или враждебными (по его мнению) идеалу силами, можно назвать это так: включение. Гоголь пытается видящееся ему зло связать, заклясть и покорить; Толстой — раздвинуть изнутри добром и отбросить; Достоевский — принять в себя и растворить. Эту способность, как бы через голову других, он наследует прямо от Пушкина.<sup>1</sup> Однако у Пушкина противостоящие начала, хотя и четко различаются, выступают в неразорванном и действительно неизвестно чем просветленном единстве (тайна его остается неразгаданной). Достоевский имеет уже дело с так далеко разошедшимися силами, что признать между ними нечто общее невозможно. Тем не менее, обнаружив противника и двигаясь ему навстречу с явным намерением столкновений, он вдруг вступает с ним в активное «братанье».

В спор современных ему направлений и групп это вносит путаницу и сочувствия не вызывает. Однако Достоевский преследует во всем этом свои далекие цели. Его интересует момент истины в каждой большой идее (или лице). Нашупав эту точку, откуда они, по его мнению, отклонились, ушли в заблуждение, но еще признают ее своей, он со всей силой устремляется туда,

---

<sup>1</sup> О переориентации Достоевского — через Гоголя к Пушкину см.: Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь: «Станционный смотритель» и «Шинель». — В кн.: Проблемы типологии русского реализма. М., 1969; Кирпотин В. Я. У истоков романа-трагедии. — В кн.: Достоевский и русские писатели. М., 1971.



не обращая внимания на возражения иных уровней или враждебность. Характерна запись для себя, передающая его отношение: «Вы хоть шут и невежда, но вы честны и в основании верны» (20, 155). Слово «основание» — ключевое. Необходимо добраться до точки схождения и оттуда выйти к общей дороге.

Но поскольку точка эта расположена часто слишком глубоко, или потеряно вообще представление, что она может существовать, его встречает поначалу круговое непонимание. Неожиданное движение навстречу «тьме» принимается прогрессивной критикой, привыкшей к ясно распределенной борьбе, за предательство или служение болезни. «Что-то чудовищное», «жесточкий талант», «с любовью обрисованное безобразие» и т. д. С другой стороны, «тьма» начинает думать, что ее оценили и явился наконец смелый истолкователь ее намерений. Заслышав эту возможность, к нему начинает стекаться издалека действительно мировое безобразие, надеясь получить здесь центр и оправдание. За сгущением всего этого вокруг Достоевского и в составе его образов трудно бывает его направление разобрать; его подлинная идея для окружающих сильно затемнена.

Самого писателя, однако, это не смущает. Скорее, его можно заподозрить во мнении, что так оно и нужно, что это единственная возможность продвинуть в его условиях высокий идеал. «Но не ожидайте — о, не ожидайте, — пишет он И. С. Аксакову, — чтоб Вас поняли. Нынче именно такое время и настроение в умах, что любят сложное, извилистое, проселочное и себе в каждом пункте противоречащее... Мертвец проповедует жизнь, и поверьте, что мертвеца-то и послушают, а Вас нет» (П., IV, 217). Уверенный, видимо, что этим чрезвычайно опасным и перспективным «живым трупам» жизнь нужнее, чем обыкновенным людям, у которых она «и так есть», он вступает в общение со всеми стадиями и формами омертвления, стараясь рассосать их, растворить, повернуть снова к жизни.

Нужно признать, что эта позиция в мире является уникальной. В такой последовательности и упорстве проведения она не встречается не только в русской классике, но и в мировой литературе вообще. Говоря о ней, мы имеем, конечно, в виду идеальный образ Достоевского, а не его реальные срывы. Этот образ был в нем безусловно сильнее его страстных ошибочных увлечений, неудач, художественного несовершенства, так как постоянно опирался на нереализованный народный идеал. Сам он так и призывал относиться к народу: «Мерило народа не то, каков он есть, а то, что считает прекрасным и истинным» (24, 147). Задача была в том, каким путем это «прекрасное» осуществить. Достоевский избирает путь непредвиденный и странный: объединение с инакомыслящим; через спрятанную в нем часть истины — к целому.

На симпозиуме Общества Достоевского в Бергамо в августе 1980 г. был обозначен доклад «Достоевский — новый Сократ». Нам не довелось его слышать, но если судить по теме, обосно-



ванно поставленной, аналогия эта не может быть полной. На близость Достоевского «сократическому диалогу» указал уже М. М. Бахтин.<sup>2</sup> Однако и он, называя источник и, естественно, выделяя черты общности, оставил (здесь) в стороне особенность Достоевского, отметив лишь, что в «сократическом диалоге» еще не было отделено понятие от образа. Между тем сама позиция Достоевского в споре была принципиально иной. Сократ прославился, насколько это видно из Ксенофонта или Платона, путем вскрытия ошибок и нелепостей в первоначальной мысли собеседника и приведения его к своей, пока тот, изумленный, не воскликнет: «Клянусь Зевсом, Сократ, ты прав!». Метод Достоевского едва ли не противоположен. Он исходит из того, насколько его собеседник был прав; причем не какой-нибудь плоской правдой, а новой и важной для Достоевского самого, и отсюда старается двинуться дальше вместе, сообщая, предостерегая от нелепостей. К этому движению приглашаются все, независимо от уровня, разработанности языка или степени заблуждения. Наверное, это один из самых демократичных в мировой литературе способов общения.

Как социальная программа этот способ выглядит безнадежной утопией. Но в раскрытии далеких целей развития, в соотношении конкретных возможностей истории с фундаментальными ценностями жизни и в создании совершенно новой атмосферы общения, где должен был прокладывать свою трудную дорогу действительно общий идеал — атмосферы, которая обеспечивается прежде всего его собственной новой художественной системой, — Достоевский добивается ни с чем не сравнимых успехов.

Он вбирает при этом, как писатель наиболее общительный и внимательный к другим, опыт русской литературы в целом, ее главные ценности, и представляет даже от лица тех, с которыми состоит по видимости в непримиримом конфликте. Наши литературоведение и критика последних десятилетий убедительно показали идейную неотделимость Достоевского от лучших, передовых традиций русской литературы, точнее — решающую зависимость его от этих традиций.<sup>3</sup> Это сказывалось даже в моменты самой острой текущей полемики, разводившей писателей по разным лагерям.

Вспомним только отношения Достоевского с ближайшим, кажется, сподвижником Н. Н. Страховым. То он начинает ему доказывать, что нигилистический свист полезен и, отодвигая потрясенного в сторону, сам берется «свистать», то уверяет, что «До-

---

<sup>2</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с. 145—150.

<sup>3</sup> См.: Храпченко М. Б. Достоевский и его литературное наследие. — Коммунист, 1971, № 16; Сучков Б. Л. Великий русский мыслитель. — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972; Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература. М., 1979; Кирпотин В. Я. Мир Достоевского. М., 1980; Селезнев Ю. И. В мире Достоевского. М., 1980; Ф. М. Достоевский и мировая литература: Беседа в редакции. — Иностран. лит., 1981, № 1 и др.



бродячьи правее Григорьева в своем взгляде на Островского» (II, II, 187), т. е. более прав и т. п. Среди его единомышленников это значило почти что попирать все самое священное, и мы знаем, что для него лично это ничем хорошим кончиться не могло. Как будто принимая у Достоевского эту черту и в своих первоначальных воспоминаниях даже называя ее «широкою <...> сочувствий, умением понимать различные и противоположные взгляды», — но и оговариваясь, что «слишком он для меня близок и непонятен»,<sup>4</sup> — Страхов, как известно, в конце концов все-таки не выдержал: разъяснил для себя эту непонятность изначальной порочностью Достоевского, стал убеждать Толстого, какой это был низкий человек, и выпустил слух о совершенном им преступлении, на целый век дав пищу любителям сочетать «гений и злодейство».

Или прямой пример отношений с Добролюбовым. При явном противостоянии, какое движение Достоевского ему навстречу! Вся сила статьи «Г-н — бов и вопрос об искусстве» в том, что Достоевский неожиданно переходит на точку зрения оппонента, чуть не полностью ее принимает. Он соглашается, присоединяется, дает свои подтверждения и говорит: пойдём дальше, дальше:

Куда — другое дело. Подтягивать Достоевского к революционным демократам у нас нет никаких оснований. Но его способность поднимать во взаимодействии с ними истину, раскрывать и расследовать ее в непредвиденном объеме в настоящее время не вызывает сомнений. В специальной монографии В. Я. Кирпотин показал, какой источник понимания открывается для нас, например, в теме «Достоевский и Белинский», когда мы глядим на этих мыслителей вместе, несколько их не соединяя и не поступаясь принципами.<sup>5</sup> Картина их спора, где эти столь, кажется, похожие, но разнозаряженные натуры, словно меняясь местами, развивали фундаментальные ценности жизни, позволяет теперь эти ценности намного глубже понять, а главное, снимая частности, видеть их перспективу сегодня.

Более широкое и объективное рассмотрение выясняет также, что многие собственно художественные открытия Достоевского, приписываемые иногда исключительно ему, принадлежат магистральной традиции русской литературы в целом. Они возникают во взаимодействии этого самого «коллективного» из русских классиков («соборного», на языке славянофилов) с другими.

В частности, развитие художественных возможностей идей, усвоение их литературой, возвращение им «человеческой натуры», что безмерно обогатило их смысл и продвинуло художественный образ к неизвестным ранее рубежам, было совершено Достоевским совместно с Белинским, при его прямом соучастии и решаю-

---

<sup>4</sup> Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, разд. 1, с. 186.

<sup>5</sup> Кирпотин В. Я. Достоевский и Белинский. 2-е изд. М., 1976.



щем вкладе Белинского в возникновение самого этого типа сознания.

Если младший брат писателя Андрей вспоминает, что «брат Федор <...> был во всех проявлениях своих — настоящий огонь, как выражались наши родители», что он «был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения <...> отец неоднократно говаривал: „Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!“»,<sup>6</sup> то эта черта (нисколько не угасшая, а лишь усилившаяся у Достоевского впоследствии) была, несомненно, внесена в идейную атмосферу времени Белинским, прямо воспитана им.

Знаменитое описание Герценом Белинского в споре («Как я любил и как жалел я его в эти минуты!»)<sup>7</sup> есть, в сущности, описание Достоевского, каким его знали люди той поры: «...для пропаганды наиболее подходящей представлялась членам различных кружков страстная натура Достоевского, производившая на слушателей ошеломляющее действие».<sup>8</sup> Серьезность в отношении к идеям, готовность, убедившись, идти с ними до конца, воспринятые от Белинского, развились в Достоевском в такой степени, что ими, кажется, лучше можно было бы объяснить его приступы, историю его болезни, которая столь привлекает «клинических» истолкователей его творчества и при которой он был, однако, поразительно духовно здоров. Взрывы и разряды нетерпеливых убеждений, не ущемившейся в нем энергии, навсегда остались отличительной чертой его облика.

Конечно, у его близости с Белинским были общие социальные причины. 40-е гг., время выхода в литературу новых общественных сил, рождения «недворянской» литературы, соединили их судьбы. Оба — сыновья «штаб-лекарей», оторванные от семьи и прочного социального наследия, дети города, тогда еще нового, увлекающиеся студенты и одновременно люди, протрезвленные бедностью от многих прекраснодушных иллюзий... Но Белинский был не просто на десять лет старше, он был настоящий отец этой атмосферы, ее «формирователь».

Личность Белинского создала духовный тип, вовлекший в свою орбиту Достоевского и повлиявший решающим образом на его художественную систему. Это было продвижение жизни в мысль, перестроение мысли по законам и «логике» жизни, бесстрашие в доведении каждой идеи до ее последствий в точно найденном образе и нравственном выводе. Ни в какое сравнение с ним не идут предшествующие ему типы отношений с идеей: обеспеченные мечтания, разработка последовательного мировоззрения с выездами за границу, как у Киреевского, Станкевича и

---

<sup>6</sup> Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, разд. 1, с. 26.

<sup>7</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956, т. 9, с. 31.

<sup>8</sup> Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, разд. 1, с. 90.



других, или подчинение образа идее, как у Рылеева; нет — именно переход жизни со всеми страстями в идею, переселение туда, и их бескомпромиссная взаимная проверка при абсолютной правдивости и невозможности умолчаний (ради абстрактно понятого единства).

Усвоив этот тип, Достоевский уже не мог поработиться никакой мыслью, при невероятной способности развернуть ее в полной наглядности и убедительной силе. Это делали его неудачные поклонники, готовые по разным причинам отождествить себя с ней, получив додуманную за них до конца Достоевским формулировку, как правило, поражающую своей точностью (в рамках данного взгляда).

Для Достоевского любая мысль или идея — средство постижения громадного целого, «нравственного закона», смысла истории. Идеи — пути к этому целому, они новые обстоятельства жизни, среда обитания.

Пропустить эту разницу, повторим, очень легко, потому что среда в противоположность прежним временам сама заряжена смыслом, постоянно претендует (и не без основания) его выразить. Она насыщена мыслью, просветлена и вовсе не составляет, как раньше, простого предмета для размышления. Ее нетрудно принять за мысль самого Достоевского, тем более при его способе общения (о котором говорилось выше), когда он сознательно идет на сближение с ней, вовлекает в движение к истине.

Возможно, поэтому он самый обманчивый из русских классиков в его успехе «на мировой арене». Как это ни парадоксально звучит, его слава здесь во многом ошибочна, — со стороны тех, кто ее наиболее активно продвигал. Она абсолютно подлинна, конечно, там, где разворачивается скрытый за всеми подобными восприятиями план; но до тех пор и в той мере, пока они господствуют и ее ведут, за Достоевского принимают отпущенные им на свободу исследования идеи, с конечной дерзостью высказывающие друг другу свой «аргумент», а не сам Достоевский. Красочность и новизна этих аргументов собирают вокруг себя изумленных родственных им идеологов, выявляя неизвестные в их собственной мысли потенции; все это они соединяют под знамя «Достоевского», — не видя (не желая или не в состоянии видеть), до какой степени оно предусмотрено и куда на самом деле Достоевский их направляет.

Типичен Андре Жид. С 1908 г., т. е. со времени своей статьи о письмах Достоевского, он активно пропагандирует Достоевского на Западе. Как литератор высоко профессиональный, он оставляет немало ценных наблюдений о стиле Достоевского, особенностях его художественной манеры в сравнении с классиками литературы на Западе, даже в соотношении с Пушкиным (предисловие к новому переводу «Пиковой дамы»).<sup>9</sup> Но что им принято

---

<sup>9</sup> Жид А. Собр. соч. Л., 1936, т. 4, с. 444—447.



за главное в Достоевском? Абсолютная свобода воли, провозглашаемая рядом персонажей, независимая личность с непредусмотренными возможностями (открытие которой, в отличие от прежнего *литературного типа*, А. Жид приписывает исключительно Достоевскому, минуя Толстого). И вот являются положительные герои А. Жида: Лафкадио Влуики из «Подземелий Ватикана» (1914), который, освобождаясь от «пут традиции», вдруг сталкивается со ступеньки вагона на ходу поезда незнакомого ему человека; Бернар Профитандье из «Фальшивомонетчиков» (1926), испытывающий все виды пороков, и т. д. Обосновывает их вывод из «Лекций о Достоевском» (1922): «... в этом физиологически ненормальном состоянии заключен своего рода призыв к восстанию против психологии и морали стада».<sup>10</sup> Иначе говоря, то, о чем Достоевский сумел предостеречь, считает себя, явившись, продолжением его мысли.

Несколько раньше то же самое происходит с Ф. Ницше. Недавно опубликованные его записи при чтении «Бесов» снова напоминают, с какой глубиной и силой его излюбленные идеи были исследованы раньше него Достоевским, — признаны во всех возможных исходных крупницах правды, но тут же и опровергнуты, включенные в совсем иной состав, чего сам Ницше не в состоянии был понять, продолжая «психологические» открытия «предшественника».<sup>11</sup>

С какой-то стороны эти ошибки объяснимы. Доводы «распада» раскрыты Достоевским часто в такой картинности и полноте, как они сами далеко не всегда умели или решались высказываться. Одни только «Записки из подполья» есть в этом смысле целый компендиум будущих мировых заблуждений, — безусловно искренних, и большого масштаба, так что быть задним числом «умнее» их не каждому и удобно: для этого надо было бы показать, что видел их «с самого начала». Тут есть и Кафка: «Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился» (5, 101); т. е. Достоевский сразу же говорит, что существует кое-что похуже «Превращения», объясняет почему, но и на этом его «подпольный» не останавливается, себя опровергая: «Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!» (5, 120).

И — фрейдистские вариации на тему, что «всякое сознание болезнь» (5, 102), и предсказание о «ретортном человеке» — что «скоро выдуманное рождается как-нибудь от идеи» (5, 179), и явление — с самим этим словом уже, термином — «антигероя» (5, 178) и т. д.

<sup>10</sup> Там же, 1935, т. 2, с. 423.

<sup>11</sup> См. об этом: Фридлендер Г. М. Достоевский и Ф. Ницше. — В кн.: Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература. М., 1979, с. 214—255; Давыдов Ю. Н. Два понимания нигилизма (Достоевский и Ницше). — Вопр. лит., 1981, № 9, с. 115—160.



Однако заблуждения есть заблуждения, и оставаться в пределах их «логики» в настоящее время уже невозможно. Это мешает видеть объем и цели мысли Достоевского. Непреодоленная инерция такого подхода, давая о себе знать даже в литературоведческих работах высокой квалификации, может останавливать анализ там, где он только должен был бы начаться.

Например, при рассмотрении современного итальянского романа и ведущихся в нем споров: «Происходит важный разговор между художником и доном Гаэтано. Художник произносит такие слова, как „справедливость“, „вина“, „искупление вины“. Священник решительно возражает. Самая древняя и распространенная ошибка в христианском мире, говорит он, заключается в мысли, будто Христос хотел пресечь зло: „Говорят: бог не существует, следовательно, все дозволено“. Никто никогда не пытался совершить маленькую, простую, банальную операцию: видоизменить эти великие слова. „Бог существует, следовательно, все дозволено“. Никто не попытался, повторяю, кроме самого Христа. И вот что такое христианство в глубокой своей сущности: все дозволено. Преступление, боль, смерть — вы думаете, они были бы возможны, если бы не было бога? Дон Гаэтано отрицает смысл и ценность понятий: „лучший, худший“; „справедливо, несправедливо“; „белое, черное“. Мы понимаем всю степень влияния Достоевского, хотя Шаша не называет его имени».<sup>12</sup>

Но в такой интерпретации писатель (Леонардо Шаша) остается на «степени влияния» персонажей, а не самого Достоевского; Достоевский разницы между «белым» и «черным», конечно, никогда не терял.

Правда, после выхода второго издания книги М. М. Бахтина<sup>13</sup> явилось искушение рассматривать Достоевского в виде ряда рассыпанных и независимых «точек зрения» на мир. Активное и неформальное понимание истины стало восприниматься иногда как возможность избавиться от объективной истины вообще; была даже предложена философия — с готовностью сменить «логику» на «диалогику».<sup>14</sup> Однако подобные толкования, как скоро выяснилось, противоречили концепции Бахтина; они уводили от Достоевского к его неизменному противнику — релятивизму в истине и морали. Вместе с тем они показали, какую реальную сложность представляет для исследователя постоянно сцепленная и борющаяся («весь борьба», — говорил Толстой) со своей противоположностью мысль писателя. Достоевский, если воспользоваться византийским термином, располагается, как некий «акрит», у самых границ идейного пространства русской литературы; в отличие от «акрита» ему эти границы сами по себе не важны,<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Кин Ц. И. Вся литература — роман. — *Вопр. лит.*, 1975, № 10, с. 132.

<sup>13</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.

<sup>14</sup> См. об этом: Кожин В. В. Предисловие к публикации плана доработки книги М. Бахтина. — В кн.: *Контекст-1976*. М., 1977.

<sup>15</sup> «Мы не считаем национальность последним словом и последнею целью человечества» (20, 179).



но важен и *непреложен* развиваемый русской литературой идеал общей правды; здесь идут непрерывные столкновения, заключаются союзы, происходят встречи и переходы — в разных направлениях и с разными целями. Необходимы особая четкость и внимание, чтобы не потеряться в этом внешнем беспорядке и пестроте.

Судьба Достоевского в литературе продолжает оставаться нелегкой. Его признание со стороны того, чему он беззаветно (без преувеличения) служил, постоянно осложнено его общением с «другими»; его правда пробивает себе дорогу тяжело и медленно, окруженная неправдой, которую он стремится поглотить. Но с каждым новым поворотом истории он находит себе новые подтверждения и воссоединяет с общей правдой русской литературы далекие, косные или противопоставленные ей начала. Он остается поэтому на всех ее этапах писателем спорных возможностей, исправляемых, изменяемых, но и набирающих силу с течением времени. Это и предсказал в 1846 г. Белинский: «Его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы».<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 9, с. 566.